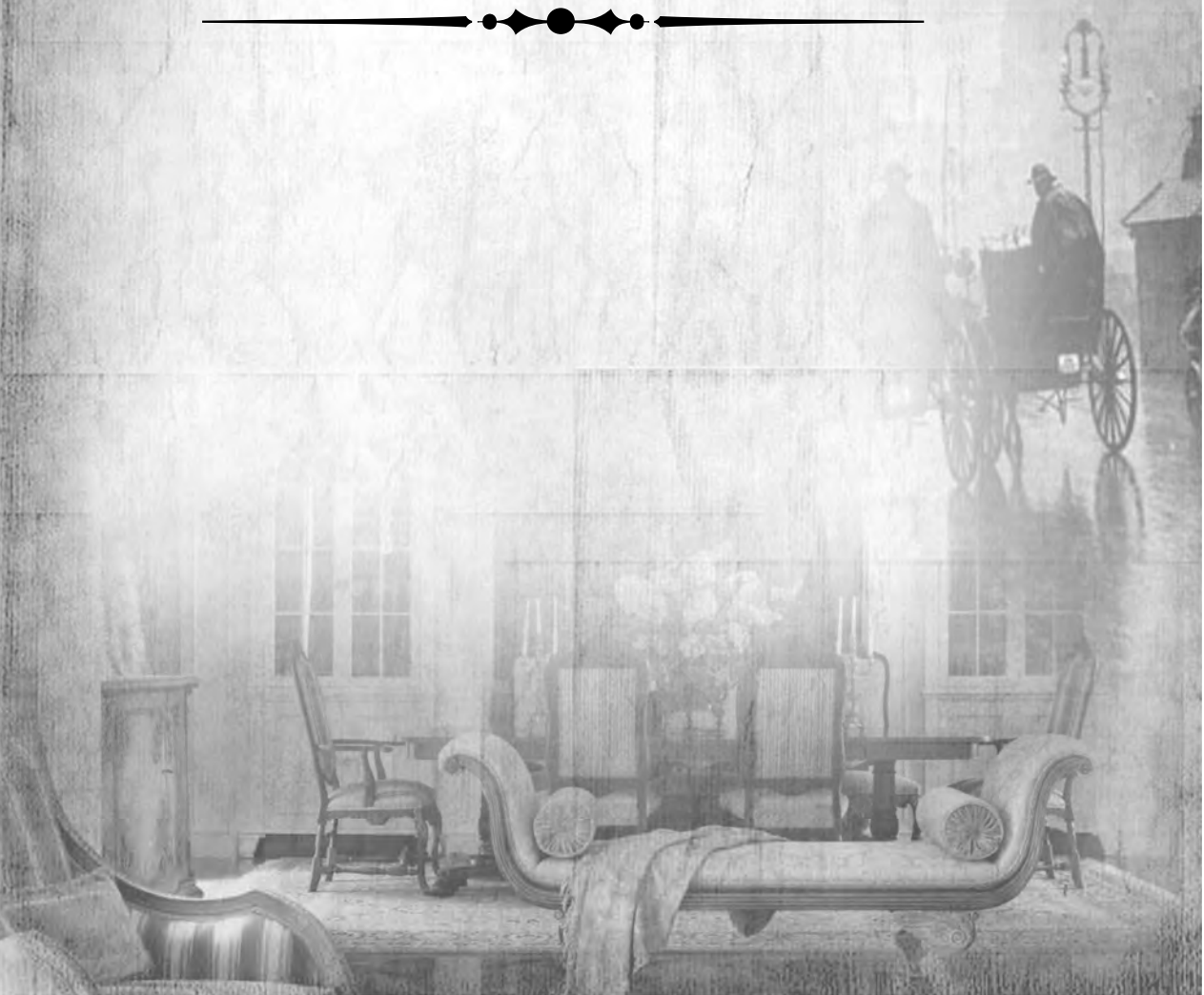




**КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ**



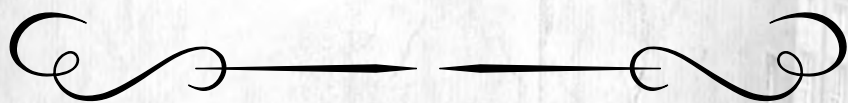
all in the world
The invisible, but
is the visible, but
is the invisible



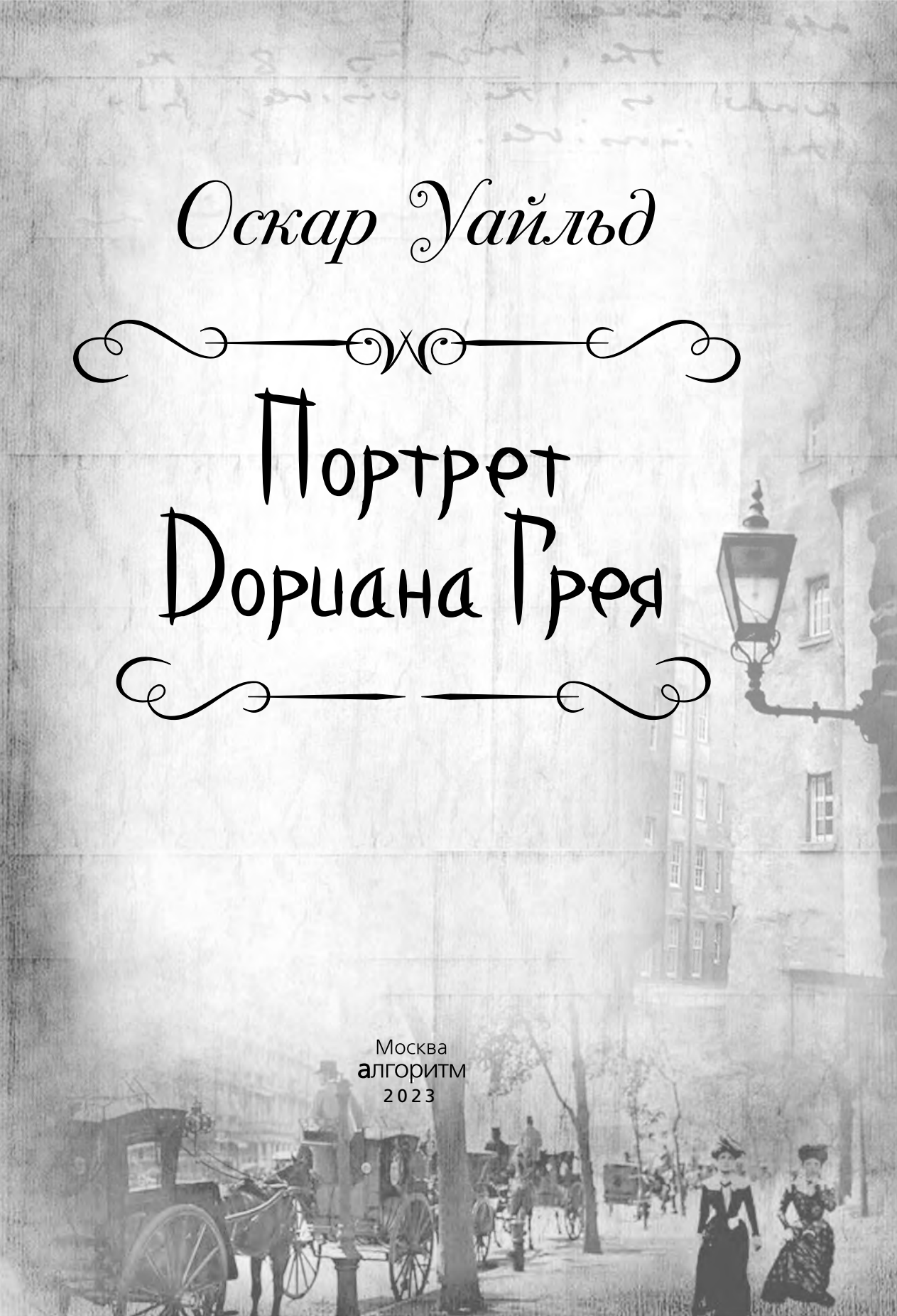
Оскар Уайльд



Портрет
Дориана Грея



Москва
алгоритм
2023

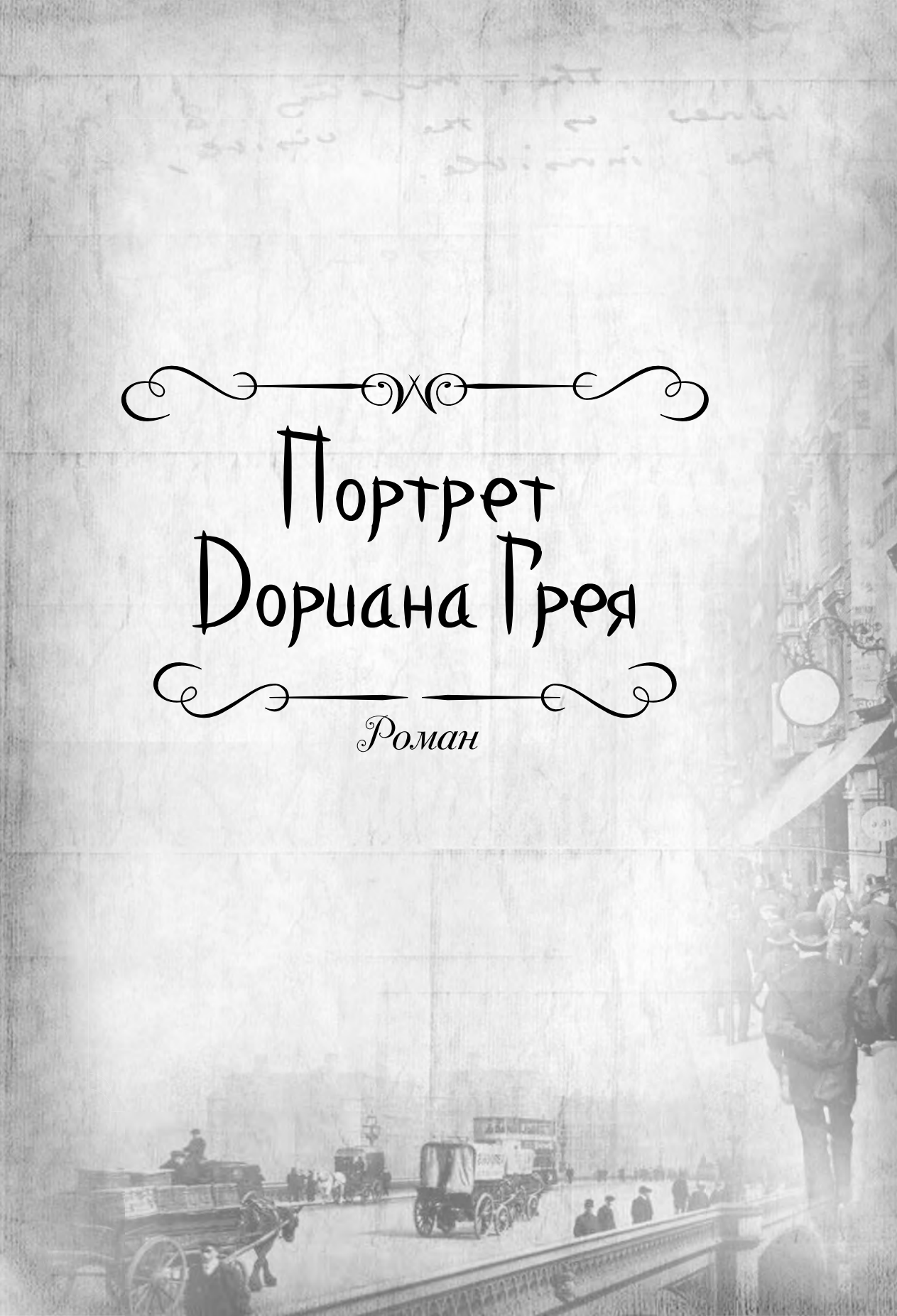




Портрет Дориана Грея



Роман



Предисловие

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана*, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

* Калибан — персонаж романа Шекспира «Буря», символ дикости, невежества, темных сил.



Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме, — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, — художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

Oscar Wilde



Глава I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст раkitника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесах громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, — и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенную высокую траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд*, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам,

* Уайльд сохранил имя своего друга — художника Бэзила Уорда.



К середине XIX Века Лондон превратился в «шумный улей», его улицы были перегружены транспортом, в ту пору, конечно, еще гужевым



словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удастся людям посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.



Гровенор — частная галерея в Лондоне, открытая в конце 70-х годов XIX века.



— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тягостятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-Богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелест-



Александрина Виктория (1819—1901) — королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года и до смерти.
Императрица Индии с 1 мая 1876 года

ное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не лести себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная бездельница приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько, — возразил лорд Генри, — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена



не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомним. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.



— Ну? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крыльшках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостинной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.



Королева Виктория, царь Николай II, царица Александра, Великая княгиня Ольга и принц Уэльский Эдуард. Сентябрь 1896 года



— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

По правилам этикета викторианской эпохи было неприличным обращаться к кому-то, если вы не были ранее официально представлены. Чтобы правильно ввести человека в общество, вы должны были знать социальные рейтинги, или порядок старшинства. Это было непростой задачей. После королевы и членов ее семьи шли архиепископ Кентерберийский, лорд-канцлер и так далее. Пипулованная состояла из двух санов: пэров (включая герцогов, графов, маркизов, баронов и виконтов — именно в таком порядке) и нижестоящих баронетов и рыцарей. Как правило, к пэрам обращались «лорд», а к их супругам — «леди». При обращении к баронетам и рыцарям использовалась приставка «сэр».

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретили-



лись снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать белую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе



людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми « пороками высших классов ». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

В 1876–1877 годах шотландский фотограф Джон Томсон (1837–1921) сделал большой цикл работ к ежемесячному журналу об уличной жизни Лондона. В 1878 году цикл этих фотографий был опубликован отдельным изданием.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, хлопнул своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.



Бродячий мастероч и торговец, ирбирным пивом. 1877 год.
Фотограф Джон Томсон



— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне

черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неумовимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.



В начале 1870-х годов Фредерик Парк и Эрнест Бортон ощерожили Викторианский Лондон, когда Вышли на улицы в образе «Фанни и Стерлы»



— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу

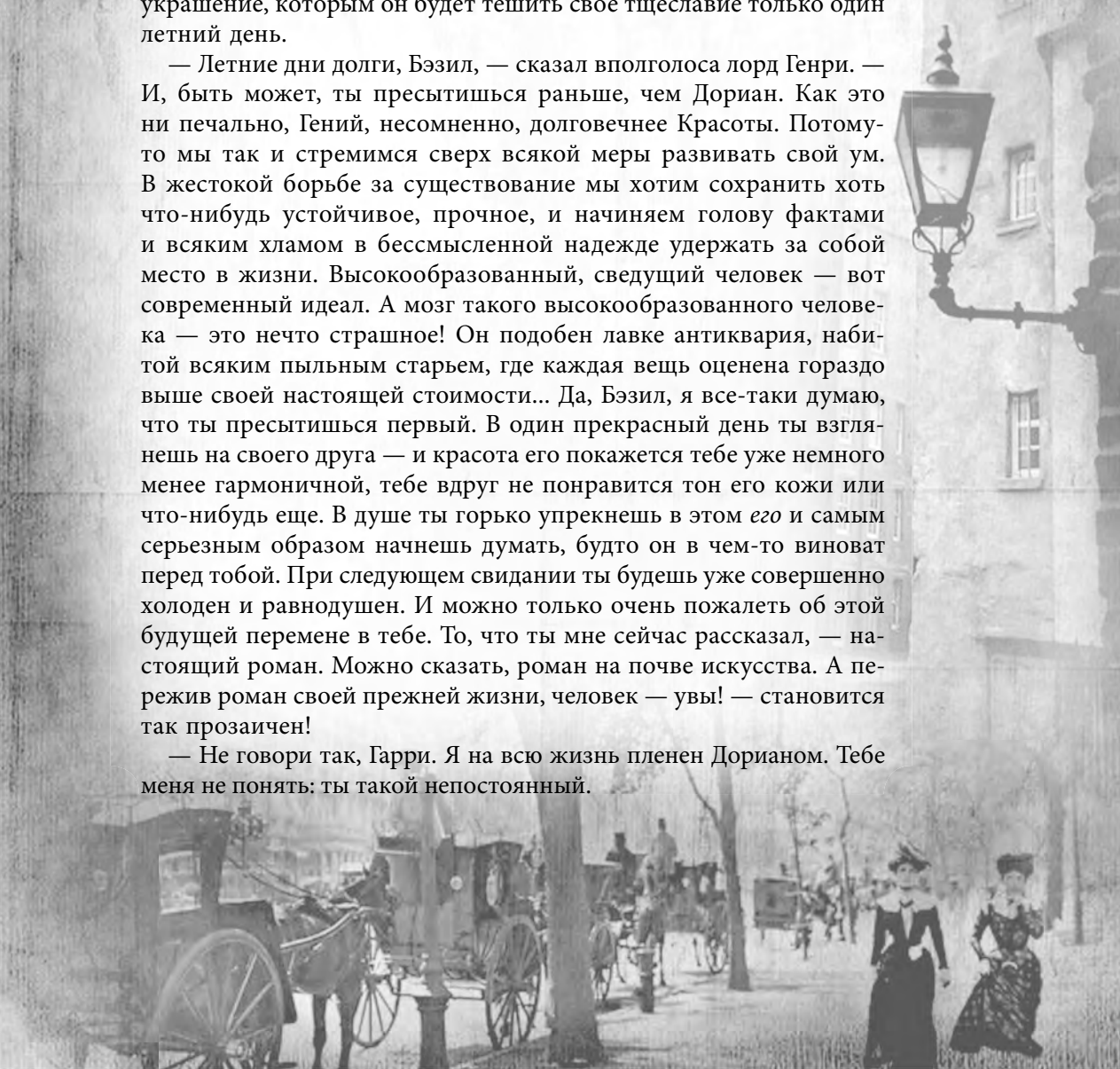


В XIX веке в Англии не было законов, запрещающих переодевание мужчин в женщин. Правда таких смельчаков могли арестовать за содомию или неподобающее поведение. А официальный запрет на такого рода переодевания и их публичные демонстрации появился только в 30-х годах XIX века.

тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведуший человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом *его* и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.



— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.


— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, — во всяком случае, добродетельные женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.



Главная улица района Уайтчепел. 1899 год

-
- А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.
 — Почему?
 — Я не хочу, чтобы вы познакомились.
 — Не хочешь, чтобы мы познакомились?

Ист-Энд – восточная часть Лондона, где в силу близости к старому порту (Докленде) селились прибывавшие в Англию иммигранты. К числу исторических кварталов относятся Уайтчепел и Стетни.



— Нет.

— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.

— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

отца Willy



Глава II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».

— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.

— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, покраснев от смущения, — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много слышал о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчепельский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь.





Жители квартала Уайтчепер. 1877 год. Фотограф Джон Томсон



Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

— Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне



ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитеесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед Богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник.

Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем, — своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знал его еще в Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие со-

Итонский колледж — частная британская школа для мальчиков, основанная по приказу короля Генриха VI. В ней готовили будущих студентов для Королевского колледжа Нембриджского университета. В архивных записях середины XVI века сохранились сведения о спартанском распорядке дня учащихся: юноши вставали в 5 утра, читали молитву и к 6 часам утра должны были быть в классах; в 8 часов вечера учащиеся возвращались в свои комнаты и после молитвы ложились спать. С каникулами тоже было нелегко — 3 недели на Рождество, в течение которых студенты оставались в колледже, и 3 недели летом, когда можно было разъехаться по домам.



Принц Генри Уильям Фредерик Альберт, правнук королевы Виктории,
в костюме Утонского колледжа. 1914 год



бытия в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа.

Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзилла, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали слова. Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сластнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять, — воскликнул вдруг Дориан. — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. — Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Пол Огастус Мартин (1864–1944) — английский фотограф французского происхождения. В 1892 году он приобрел необычный для того времени фотоаппарат, который назывался «Facile». Устройство, похожее на довольно большую завернутую в коригневую бумагу посылку, менее всего напоминало фотокамеру, что давало возможность снимать уличны́е сцены, оставаясь практически невидимым. Сам того не подозревая, Пол Мартин систематически использовал метод съемки «скрытой камерой».



Уличный торговец, шербетом и водой на улице Чипсайд.
1893 год. Фотограф Ттор Мартин



Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзиллом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри, — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.



— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избородят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракичник в июне будет так же сверкать золотом, как



сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листья будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

— Если так, пусть наша дружба будет капризом, — шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмостки и стал в позу.



Сэр Оскар Райш и лорд Альфред Дуглас. 1893 год



Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршанье кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго, на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души, — сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.

— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

— За это надо благодарить меня, — вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом, прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой

алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами.словно ледяная рука легла ему на сердце.

— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятым молчанием Дориана.

— Ну конечно, нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

— А чей же?

— Дориана, разумеется, — ответил художник.

— Вот счастливец!

— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

— Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Тяжела тогда была бы участь художника!

— Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

— Да, да, — продолжал Дориан. — Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совер-

шенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью.

Лорд Генри пожал плечами.

— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

— Неправда.

— А если нет, при чем же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

— Я остался по твоей же просьбе, — возразил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей, — видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что убийство!

— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад, — сказал художник сухо, когда опомнился от удивления. — А я на это уже не надеялся.





Портрет Оскара Уайльда. 1882 год. Фотограф Наполеон Сарони

— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.

— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы

Наполеон Сарони (1821–1896) — американский фотограф и литограф. Особенно известны его фотопортреты артистов американского театра конца XIX века.



оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне *очень* хочется.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».

— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

— А на меня не обижайтесь, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.

В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюдца, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — Терпеть не могу фраки!

— Да, — лениво согласился лорд Генри. — Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

— При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?

— И при том, и при другом.



Королевский театр «Друри-Лейн» — старейший, открывшийся 7 мая 1663 года, непрерывно действующий театр Великобритании.
Интерьер 1808 года



— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, — промолвил Дориан.

— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.

— Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.

— А я останусь с подлинным Дорианом, — сказал он грустно.

— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой?

— Да, именно такой.



— Как это чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь, — со вздохом сказал Холлуорд. — А это чего-нибудь да стоит.

— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и всё.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Оставайтесь у меня, пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

— Нет, я должен идти, Бэзил.

— Как знаете. — Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.

— И вот еще что... Гарри!

— Что, Бэзил?

— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже забыл, о чем именно.

— Смотри! Я тебе доверяю.

— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довести вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.





Лондонский извозчик. 1877 год. Фотограф Джон Торсон



Глава III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копиям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, — в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а меж-



Джентеръмен. 1904 год



ду тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

— А, Гарри! — сказал почтенный старец. — Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермор с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это всё.

— Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, — они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, — и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.

— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Си-ней книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знания тебе только во вред.

Синие книги появились в Англии в XVI веке. Они представляют собой собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых правительством для представления парламенту, а также разными парламентскими комиссиями.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, — небрежно заметил лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, — так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересуется.

— Внук Келсо! — повторил старый лорд. — Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой, — он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню всё, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя... понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу, — и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-Богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.

— Да, очень красивый, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермор. — Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-Богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

— Этого я не знаю, — отозвался лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногочисленны, но женщины, ей-Богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним... Да, кстати о дурацких браках, — что это за вздор молот твой отец насчет Дартмура, — будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Ставка нынче только на американок.

— Я слышал, что их ненадолго хватает, — буркнул дядя Джордж.

— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Они у нее вообще имеются?

Лорд Генри покачал головой.

— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое, — сказал он, вставая.

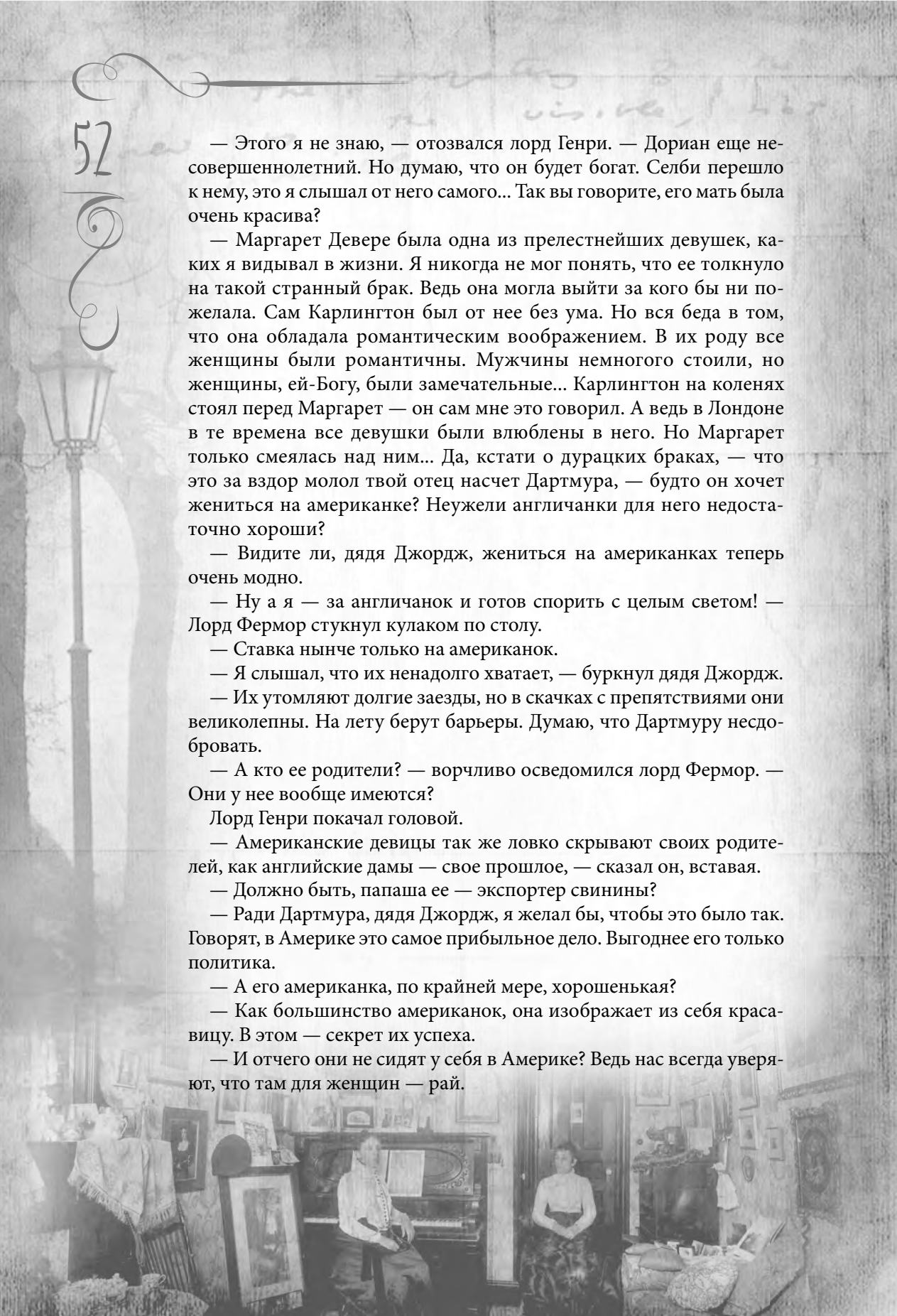
— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?

— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

— А его американка, по крайней мере, хорошенькая?

— Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом — секрет их успеха.

— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.



— Так оно и есть. Потому-то они, подобно прапаматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.

— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протеже.

— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.


Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою





Тихое Весеннее утро на Берклей-сквер. 1924 год

душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат, — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубочувственными утехами и грубопримитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, — замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданное возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, кото-

рый об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, — собственно, он уже наполовину этого достиг, — и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

Джентельмен, желавший показать, что пришел ненадолго, проходил в комнату с цилиндром и тростью. Он мог держать их в руке или положить на какой-либо предмет мебели. Но ни то не считалось таким вульгарным, как положить шляпу на пол или под стул. Если же жентельмен намеревался задержаться, то отдавал цилиндр и трость лакею.

— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравших-

ся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрдэн, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной — сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, следовало бы помешать этому!

— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, — с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрдэн.

— А мой дядя утверждает, что свининой, сэр Томас.

— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.

— Американские романы, — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.





Леди Паже, урожденная американка Мария (Шинни) Стювенс, которая стала своего рода брачными агентами для богатых американских наследниц и британских аристократов, в костюме Клеопатры. 1897 год



Герцогиня была озадачена.

— Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно.

— Когда была открыта Америка... — начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения.

Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она. — Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, — заметил мистер Эрскин. — Она еще только обнаружена.

— О, я видела представительниц ее населения, — неопределенным тоном отозвалась герцогиня. — И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных остроумий.

— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.

— В Америку, — пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас сдвинул брови.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я изъездил ее всю вдоль и поперек, — мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны, — и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит — предавать интеллект.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас, побагровев.

— А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы имеют свою прелесть, но... — начал баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.

— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.

— Я сочувствую всему, кроме людского горя. — Лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

— Несомненно, — согласился лорд Генри. — Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.

Старый политикан пристально посмотрел на него.

— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

— Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый





Общественные в Ист-Энде. 1902 год. Фотограф Джек Лондон



век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уведут нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.

— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.



Знаменитый писатель Джек Лондон (урожденный Джон Триффит Сейни (1876–1916)) известен не только своими литературными произведениями, но и фотоработами. В начале XX века он провел 84 дня среди жителей промышленных районов Лондона и создал целый фоторепортаж.



Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

— Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только в молодости, — возразила она. — А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклоняясь к ней через стол.

— Увы, и не одну!

— Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. — Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня. — непременно проверю ее на практике.

— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы.

А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

— Да, — продолжал лорд Генри. — Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в испуленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью

медлительного Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давилки, на котором восседает мудрый Омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как завороченный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.

— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?

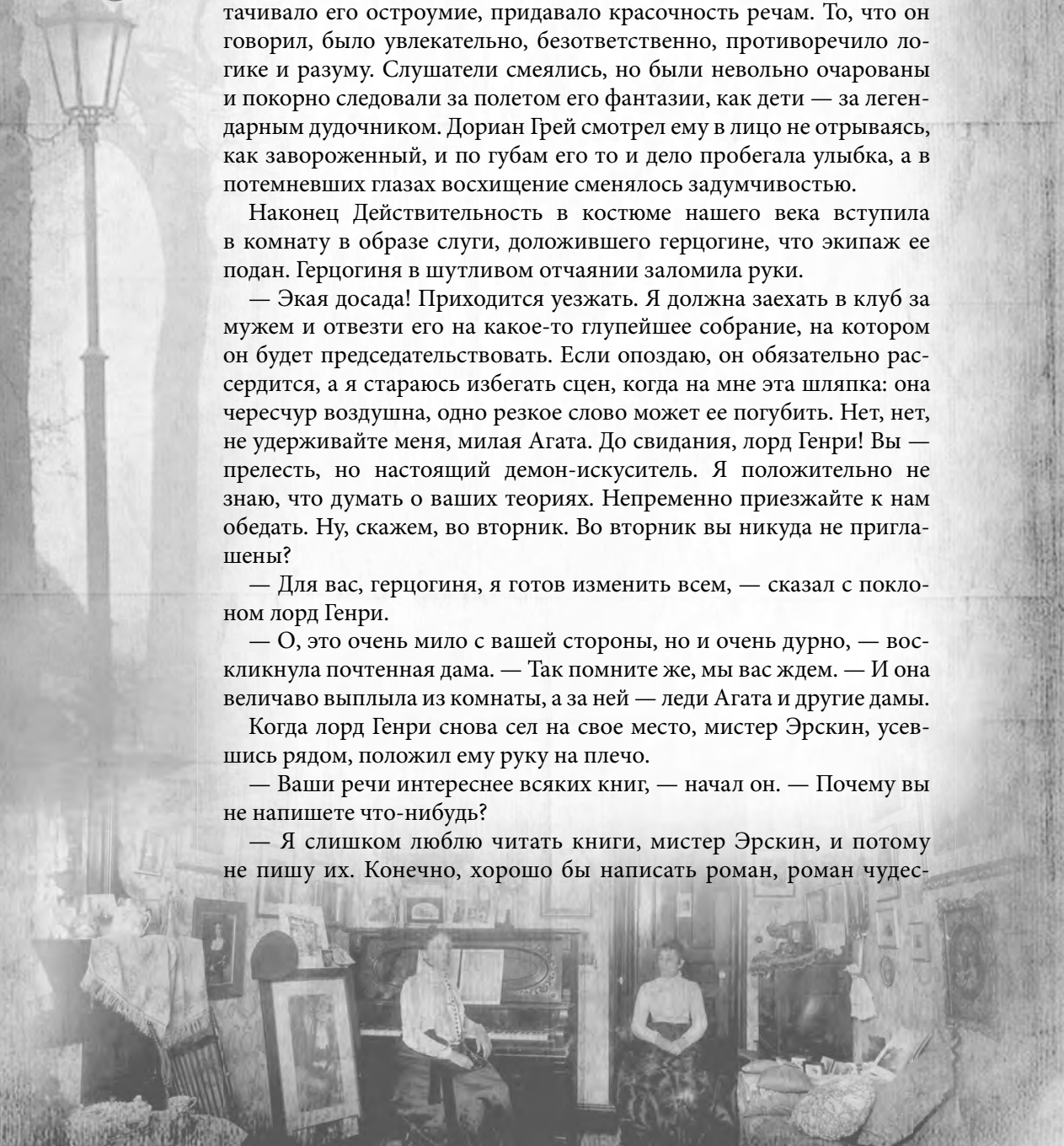
— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, — сказал с поклоном лорд Генри.

— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, — воскликнула почтенная дама. — Так помните же, мы вас ждем. — И она величаво выплыла из комнаты, а за ней — леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

— Ваши речи интереснее всяких книг, — начал он. — Почему вы не напишете что-нибудь?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудес-



ный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.

— Боюсь, что вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли... Теперь, мой молодой друг, — если позволите вас так называть, — я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все то, что говорили за завтраком?

— А я уже совершенно не помню, что говорил. — Лорд Генри улыбнулся. — Какую-нибудь ересь?

— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь случится, все мы будем считать вас главным виновником... Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.

— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум. В этот час мы обычно дремлем там.

Атенеум — это закрытый гостный клуб в Лондоне, основанный в 1824 году.

— В полном составе, мистер Эрскин?

— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы.

Лорд Генри расхохотался.

— Ну а я пойду в Парк, — сказал он, вставая.

У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.

— Можно и мне с вами?






Здание клуба Атеней на пересечении улицы Палл-Мэлл
и площади Ватерлоо. XIX век



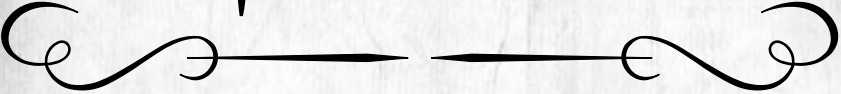
- Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?
 — Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы.
 — Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри. — Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.

отца Willy.





Глава IV



Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клордиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»* в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

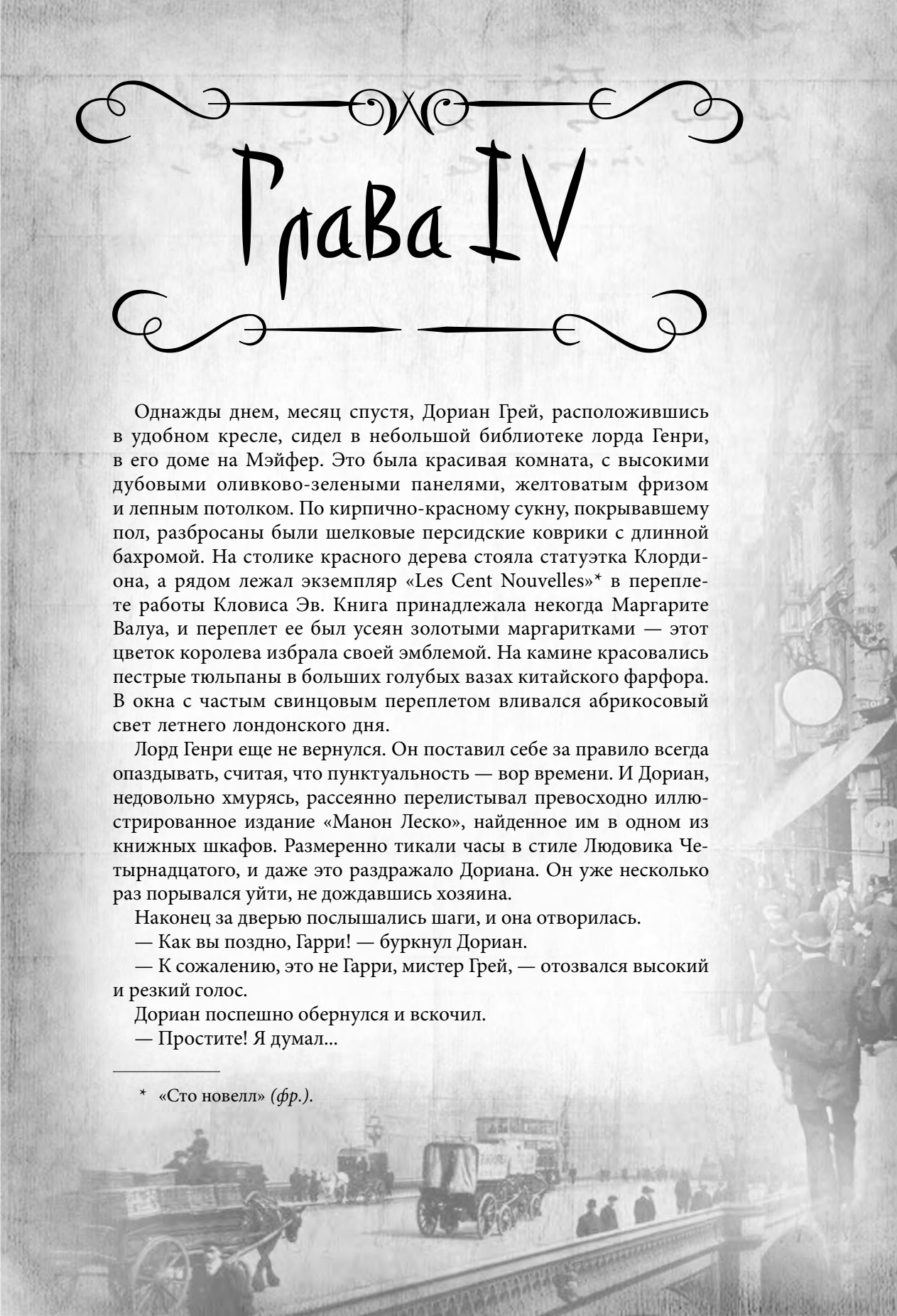
— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.

— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался высокий и резкий голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

* «Сто новелл» (фр.).



— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.

— Будто уж семнадцать, леди Генри?

— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.

Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.

В начале XIX века женские платья были довольно просты, но во времена королевы Виктории в моду вошли сложные, изысканные и богато украшенные наряды. В шкафу каждой женщины хранились платья множества фасонов: вечерние, для балов, обедов, прогулок и поездок в карете, для выезда за город.

— Вероятно, на «Лоэнгрине», леди Генри?

— Да, на моем любимом «Лоэнгрине». Музыка Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?

Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой.

— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.

— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую





Девушка, одевающая кринолин. 1860-е годы



музыку я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает... Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиней такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что, — не помню, что именно, и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях... впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.


— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад, — сказал лорд Генри, поднимая томные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уорддор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась как всегда, неожиданно и некстати. — Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?

— Очень возможно, дорогая, — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь.

Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

По правилам этикета, джентльмен никогда не курит в присутствии дамы, а даме было невежливо заговорить с джентльменом, когда он курит.



Первый торговый пассаж в районе Шейфэр, открытый в 1849 году

— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они ужасно сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных людей.

— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.

— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.

— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей.

Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут Сибила Вэйн.



— Никогда не слышал, о такой актрисе.

— И никто еще не слышал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.

— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премило. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.

— Помилуйте, Гарри!..

— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «*goûte*»* и «*esprit*»** считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе... Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.

— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?

— Недели три назад.

— И где?

— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри!

В сущности, не встретиться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаюсь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. словно какая-то сладкая отравка была разлита в воздухе.

* Румяна (фр.).

** Остроумие (фр.).



Площадь Пикадилли. 1909 год



Меня мучила жажда новых впечатлений... И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе тысячу вещей... Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабирин-

те грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрлика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, — ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!

В начале викторианской эпохи большинство домов еще освещались с помощью свечей, хотя газ уже был проведен на многие улицы Лондона. Дома, где проживали молодые обеспеченные семьи, охотно переходили на газовое освещение, но люди постарше относились к нему опасливо, боясь, что он взорвется или слуги оправят их ногу. Даже в самом конце XIX века можно было встретить дома, хозяева которых отказались проводить у себя газ.

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. Grande passion* — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.

— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.

— Наоборот, глубоко чувствующим.

— Как так?

* Великая страсть (фр.).



— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей, — это попросту доказательство бессилия... Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многие мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет... Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.

— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия, как на дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.

— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы!

— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?

— Ну что-нибудь вроде «Идиот» или «Немой невиновен». Деда наши любили такие пьесы. Чем дольше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, *les grand-peres ont toujours tort**.

— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст отсебятину и был в самых

* Деда всегда не правы (фр.).

дружеских отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем исступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть глаза — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться... Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по Арденнским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме — коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преобразаться как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?

— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.

— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.



Габриэль Рэй (1883—1973) — английская актриса, певица и танцовщица, наиболее известная по своим ролям в Эдвардианских музыкальных комедиях

— Не презирайте крашенные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.

— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!

— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне верить всё.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.

— Такие, как вы, Дориан, — своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь, — не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите... Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю... Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вэйн?

Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.

— Гарри! Сибилла Вэйн для меня святыня!

— Только святыни и стоит касаться, Дориан, — сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе. — И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?

— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением, — наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского...

— Вполне возможно.

— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.

— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогою цену.

— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману, — сказал Дориан со смехом. — Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но



я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект, — однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.

— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь... Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вэйн?

— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула... По крайней мере, так мне показалось... А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел... Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?

— Нет, ничуть не странно.

— А почему же, Гарри?

— Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.

— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас “Прекрасный Принц”».

— Клянусь честью, мисс Сибилла умеет говорить комплименты!

— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.

— Встречал я таких... Они на меня всегда наводят тоску, — встал лорд Генри, разглядывая свои перстни.



— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.

— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.

— Меня интересует только сама Сибилла. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней всё — совершенство, всё божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.

— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.

— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день — либо завтракаем, — либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу, — удивленно возразил Дориан.

— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.

— Что поделаешь! Я должен видеть Сибиллу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.

— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?

Дориан покачал головой.

— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.

— А когда же она бывает Сибиллой Вэйн?

— Никогда.

— Ну, тогда вас можно поздравить!

— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее: я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибиллу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!

Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его су-



Лири Элси (урожденная Элси Ходдер (1886—1962)) — актриса и певица, известная по главной роли в Лондонской премьере оперетты Франца Легара «Веселая вдова»



щество раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее



Член парламента, сэр Бевебли Бакстер (1891—1964) писал: «Она обладала такой же английской прелестью, как роза. Она навсегда олицетворила Англию в глазах юношей, преждевременно ставших мужжинами... Лили Элси была нашей прекрасной леди, мы — ее верными рыцарями. Интересно, знала ли она об этом?»



талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года, — впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.

— Ну, это вряд ли, милый мой!

— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.

— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?

— Сейчас соображу... Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.

— Отлично. Встретимся в восемь в «Бристоле». Я привезу Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.

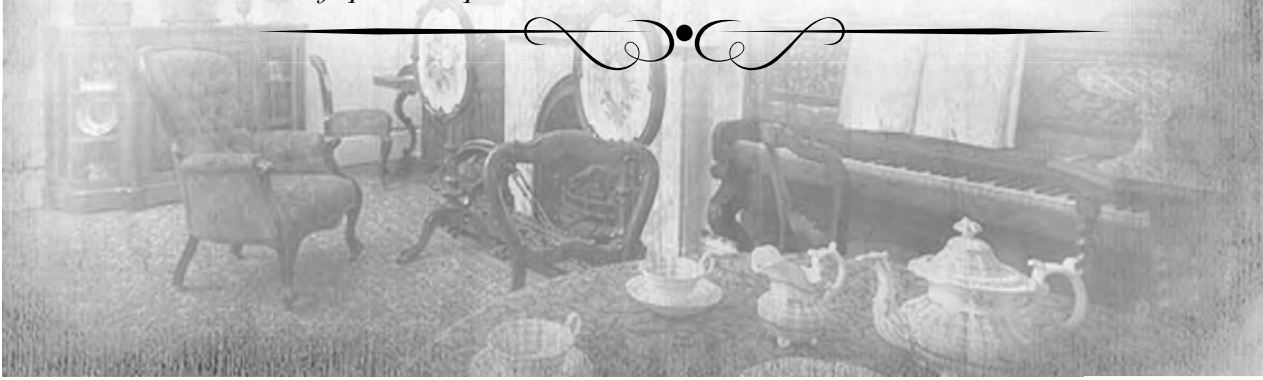
— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?

— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку... Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне хорошие советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!

Бедфорд Лемер (1839–1911) в 1861 году открыл фотостудию в Лондоне на 147 улице, которая проработала до 1947 года. С 1881 года ведущим фотографом студии был его сын — Генри Бедфорд Лемер (1865–1944).





Театр «Лицеум» на Верлингтон-стрит в районе Вест-Энд. 1909 год.
Фотограф Бедфорд Пермер

— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.

— Видите ли, мой друг, Бэзил всё, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффективнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.

— Не знаю, верно ли это, Гарри, — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. — Должно быть, верно, раз вы так говорите... Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.

Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким



необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.

Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере его созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранныкам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства, — ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.

Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, чем все кончится, какая судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.

Душа и тело, тело и душа — какая это загадка! В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — огупеть. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал Джордано Бруно, тело заключено в духе? Расставание души с телом — такая же непостижимая загадка, как их слияние.

Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой,





Оксфордский университет. 1904 год



раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.

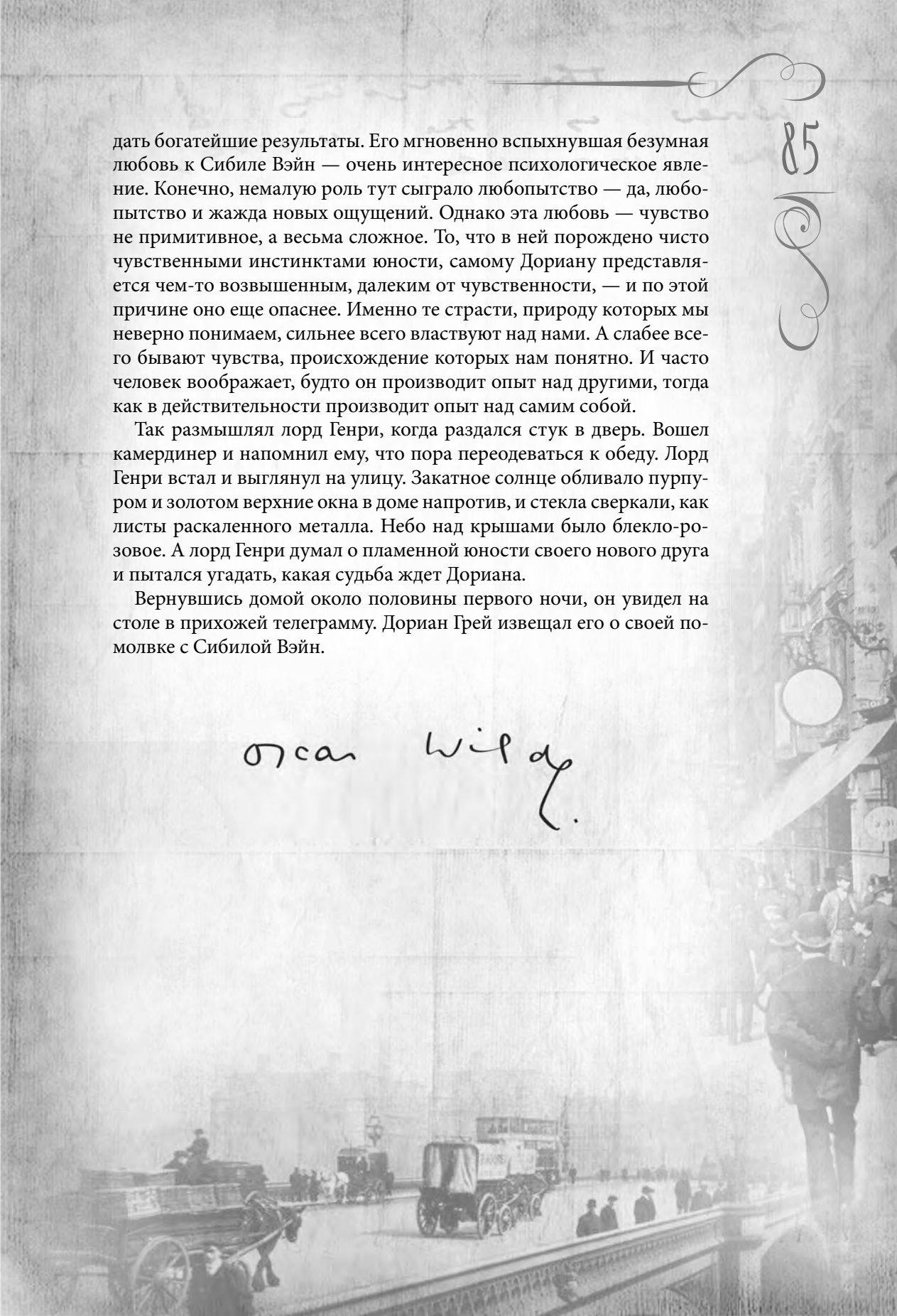
Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает

дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено чисто чувственными инстинктами юности, самому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности, — и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.

Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибиллой Вэйн.

Оскар Уайльд



Глава V

— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. — Я так счастлива, — повторила Сибила. — И ты тоже должна радоваться!

Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.

— Радоваться? — отозвалась она. — Я радуюсь, Сибила, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги...

Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.

— Деньги? — воскликнула она. — Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.

— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибила. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен...

— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной, — сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он, — ворчливо возразила мать.

Сибила откинула голову и рассмеялась.

— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.

Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.





Женская мода Викторианской эпохи. 1860 год



— Я люблю его, — сказала Сибила просто.

— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, униженных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.

Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибила на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.

Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибила не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.

Мудрость между тем переменяла тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки... Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке... Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибилы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.

Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.

— Мама, мама, — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою... А все-таки, — не знаю отчего, — хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю Прекрасного Принца?

Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Прости, мамочка! Знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое

время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости... Впрочем, если окажется, что он богат...

— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!

Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.

Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.

— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила, — сказал юноша с шутливым упреком.

— Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибила. — Ты — угрюмый старый медведь! — Она подскочила к брату и обняла его.

Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.

— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.

— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене, — ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.

— А почему не говорить, раз это правда, мама?

— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет... Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.

— «Хорошее общество», подумаешь! — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно! Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!

— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом





В Кенсингтонских садах. XIX Век



Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!



Кенсингтонские сады – королевский парк в Лондоне в районе Кенсингтон, вокруг Кенсингтонского дворца. До 1728 года были частью Гайд-парка.



— Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула Сибилла, поглаживая рукав его потрепанного пальто.

— Ну, ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее.

Сибилла выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, избегая по лестнице. Потом ее ножки затоптали где-то наверху.



Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Мама, у тебя все готово?

— Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья.

Последние месяцы миссис Вэйн бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.

Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпех. Тогда она пустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.

— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис Вэйн. — Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

— Не терплю контор и чиновников, — отрезал Джеймс. — Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!

— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?

— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы... Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат, — он посылает Сибиле чудесные цветы.

— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.

— Нет, не знаю, — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. — Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво. — Смотри за ней хорошенько!

— Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию. И они будут прелестной парой, — он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.

Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабанил пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь открылась и вбежала Сибилла.

— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она. — В чем дело?

— Ни в чем, — сказал Джеймс. — Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.

— До свиданья, сын мой, — отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздрадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.

— Поцелуй меня, мама, — сказала Сибилла. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.

— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.

— Ну, пойдем, Сибилла! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.

Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Род. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.

По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели, — чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибилла же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девуш-





Пересечение Юстон-Род и Харпстед-Род. 1904 год



ке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях

